

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

I. ТРУДНО ПОВЕРИТЬ

II. ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Предисловие и комментарии И. И. Векслера

ИЗ ПРЕДИСТОРИИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ¹

1. Решетников и народники

Решетников — одинокая фигура в русской литературе 60-х гг. — одинокая и в смысле творческом, и в обычном, житейском смысле. В связи с его именем шли ожесточенные классовые бои в литературе, он был одно время литературным знаменем революционной мелкой буржуазии; но писатель умер — и своя же литературная партия не знает, что о нем сказать:

«Мы не имеем никакой возможности писать о Ф. М., — заявляет первый биограф Решетникова — Г. И. Успенский: — материалов для этого у нас никаких нет»². В другом месте Гл. Успенский поясняет: «Личное знакомство с Ф. М. для заинтересовавшегося в раз'яснении этого запутанного таланта было почти бесполезно... Он был угрюм, неразговорчив, необщителен и порою груб. Он всех сторонился, смотрел испуганным волком, подозрительным к самым искренним заявлениям дружбы»³.

Дневник Решетникова, охватывающий 1864—68 гг., следовательно пору наиболее интенсивной творческой его работы и, казалось бы, наиболее тесной его связи с литературной средой, вскрывает причины этой странной отчужденности.

«Я еще ни с кем не познакомился, на меня никто не обращает внимания», — записывает Решетников в январе 1866 г., т. е. спустя два года после «Подлиповцев»; «в Петербурге лично со мною знакомы человека два-три, которые все-таки не знают сути», — читаем в октябрьской записи 1868 г., т. е. уже после «Глуемых», «Где лучше?» и после программной статьи «Отечественных записок», провозглашавшей Решетникова чуть ли не главой «новой литературы»⁴. Как бы предвидя неудобство положения своих будущих биографов, Решетников записывает: «...если мне придется умереть в Бресте⁵, прежде отъезда в Петербург, то, которые интересуются мною, могут достать сведения очень неверные...» И хотя писа-

¹ В нашем распоряжении находятся решетниковские материалы, крайне недостаточно использованные прежними исследованиями, а частью и вовсе не использованные. В числе их и часть дневника, — повидимому та, которой когда-то пользовался М. А. Протопопов и которая с тех пор считалась затерянной. Материалы дают возможность внести серьезные поправки в построения товарищей (А. Дивильковский, А. Ефремин и др.), выступивших вполне своевременно с критикой традиционных взглядов на Решетникова и его творчество.

² Гл. Успенский. Ф. М. Решетников («Отечественные записки», 1871, № 4).

³ Гл. Успенский. М. Ф. Решетников. Вступительная статья к Собр. соч. Решетникова, 1874, т. I (или Собр. соч. Гл. Успенского, 1908 г., т. VI). — Подчеркивания здесь и далее, специально не оговоренные, наши. — И.

⁴ «Напрасные опасения» («Отечественные записки», 1868, № 10).

⁵ С. 1867 по 1869 г. Решетников временами проживал в Брест-Литовске.

тогда заявляет: «я сам веду себя так, что никто со мной не разговаривает», но не это его заявление объясняет дело, а те заметки, которыми переполнен дневник Решетникова и которые характеризуют отношение к нему, самому демократическому из писателей-разночинцев, близкой ему литературной среды. Заметки эти не очень выгодны для «братьев-писателей»: «В редакции «Современника» смотрят на меня с пренебрежением»; «придешь в редакцию, с тобой никто ничего не говорит»; «в течение года Вас. Курочкин не запомнил даже моего имени и отчества» и т. д. Некрасов ближе других подходил к Решетникову, но и у Некрасова не всегда хватало внимания, чуткости, а часто и простой деликатности.

Так сложились взаимоотношения Решетникова с близким ему литературным кругом; неудивительно, что в 1871 г. литераторы «Отечественных записок» ничего не могли рассказать своим читателям об авторе, которого они считали видным своим представителем и творчество которого противопоставляли творчеству дворянских писателей.

Тем не менее и биографы, и «воспомянатели» у Решетникова нашлись и среди друзей, и среди врагов. У первых получалось типичное народническое «житие», а у вторых, естественно, — брань и клевета. И там и здесь не хватало фактов, и там и здесь фантазировали. С легкой руки Гл. И. Успенского, «Грамотея»¹, «Сияния»² и др. лиц и органов печати разукрашенные фантазией «жития» долго служили, а частично и ныне служат источником «биографических» справок о Решетникове, — удивительных справок о его духовном происхождении, бурсацком образовании, тюремном (двухлетнем!) заключении и даже о том, что «двадцати лет Решетников поступил чернорабочим на литейный завод». («Сияние»).

Мы не остановимся здесь на клевете реакционных и дворянских литераторов типа Е. Феоктистова³, П. Ковалевского⁴ или ставшего к концу 80-х гг. типичным бульварным фельетонистом В. Майнова⁵; первые два по классово-злой, Майнов для дешевой сенсации в своих воспоминаниях грязнили и искажали облик писателя, громко заговорившего в русской литературе о русском рабочем классе. Отметим лишь, что даже близкие и расположенные к Решетникову люди, наблюдавшие его в тесном домашнем или дружеском кругу, — Новокрещенных, Скабичевский и др. — дают в своих воспоминаниях лишь отдельные черты и эпизоды, которые полезны для противопоставления клевете Феоктистовых, Ковалевских и Майновых, но совершенно не дают целостного очерка личности писателя. Подробные сведения о Решетникове сообщает также А. Панаева⁶. Но ее сообщение, в смысле верности натуре, такая же словесная фотография благообразно причесанного Решетникова, как обычно воспроизводимый и всем известный его фотографический портрет, исправленный и прикрашенный уже после смерти писателя.

Таково положение дела с биографией Решетникова. Немногим лучше оно и с творческой историей его произведений, и с критическим уяснением его творчества.

Мы упомянули, что Решетников одно время был знаменем для литературы революционной мелкой буржуазии в ее борьбе с литературой дворянской. И действительно: с 1868 по 1873 г. в так называемой «левой» литературе мало встречается выступлений, направленных против дворянской литературы, в которых творчество Решетникова не привлекалось бы как самый живой и яркий пример иных классовых задач, иного идейно-тематического содержания и иного творческого метода «новой» литературы сравнительно с литературой дворянской.

¹ 1871 г., № 8.

² 1872 г., № 19.

³ Е. М. Феоктистов. Воспоминания («Прибой». Глава первая).

⁴ П. М. Ковалевский. Встречи на жизненном пути — в издании «Литературные воспоминания». Д. В. Григоровича и П. М. Ковалевского, «Academia», 1928.

⁵ Майнов. Встречи и столкновения («Новости» и «Биржевая газета» 1886, № 234).

⁶ А. Я. Панаева. Воспоминания. «Academia» (неск. изданий), гл. XVIII.

Эти утверждения в одном были правильны: Решетников действительно дал образцы классово иной литературно-творческой практики, подлинно противостоявшие творческой практике художников-дворян; как увидим ниже, в творчестве Решетникова действительно отразились эстетические требования, развитие Чернышевским, как отрицание эстетического канона дворянской литературы. Это понимали и об этом заявляли с различными оговорками представители различных литературных направлений, отражавшие тогда в литературе политическую борьбу за пути капиталистического развития России: как борцы за «прусский путь», начиная от Тургенева и кончая Достоевским, так и тогдашние представители «американского пути» в лице «Отечественных записок».

«Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. Решетниковы еще ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль о необходимости чего-то нового в художественном слове (но уже не помещичьего), хотя и выражают это в безобразном виде», писал Достоевский Н. Н. Страхову¹.

Заявление Тургенева о «трезвой правде» Решетникова общеизвестно: «как бы порадовался он (Белинский — И. В.) поэтическому дару Л. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова!» — заявлял он в «Воспоминаниях о Белинском»². Борьбе за «новую» литературу посвящена упоминавшаяся выше программная статья «Отечественных записок» — «Напрасные опасения»³, статья, заканчивавшаяся характеристикой творчества Решетникова как представителя этой «новой» литературы.

Естественно при таких условиях, что реакционный лагерь в борьбе с «левой литературой» также избрал объектом атак Решетникова. Так начались горячие дискуссии о Решетникове в литературной критике, — дискуссии, имевшие все признаки ожесточенной классовой борьбы.

В литературной борьбе революционной мелкой буржуазии с дворянско-буржуазным реформизмом и с реакцией, имевшей место в конце 60-х и 70-х гг., имя Решетникова начинает появляться с 1865 г., но по-настоящему борьба в связи с его творчеством развернулась в 1868 г. после выхода отдельным изданием «Подлиповцев» (1867 г.), опубликования «Глумовых» (1867 г.) и «Где лучше?» (1868 г.). С тех пор борьба не прекращалась до самой смерти Решетникова, вспыхивая с каждым новым изданием его произведений. Мы не можем здесь подробно говорить об эпизодах этой борьбы, отметим лишь, что в борьбе приняли участие все политические группировки русской литературы 70-х гг., все сколько-нибудь заметные органы тогдашней прессы, все выдающиеся критики и публицисты различных лагерей: «Отечественные записки», «Дело», «Неделя» (Скабичевский, Гл. Успенский, Михайловский, Ткачев, Щелгунов, Цебрикова и в известной мере тогдашний В. Буренин) — от революции и радикализма; «Вестник Европы», «С.-Петербургские ведомости» (Е. Утин, А. Суворин-Незнакомец, Боборыкин) — от либерализма; «Заря», «Всемирный труд», «Русский вестник» (Авсеенко, Страхов, Н. Соловьев) — от реакционной и «услужавшей» прессы и большой ряд других имен и изданий.

Казалось бы, что революционная и радикальная критика при таких обстоятельствах должна была глубоко исследовать вопрос о творчестве Решетникова, тем более, что борьба иногда перекидывалась и в ее собственные ряды (см., например, статью М. Тар-ца⁴ в № 1 «Дела» за 1871 г.); однако дискуссии не продвинули особенно далеко изучение Решетникова. Реакционный буржуа В. Чуйко, в 1890 г. подводящий итоги критическим и историко-литературным изысканиям «левой» литературы о Решетникове, имел достаточные основания утверждать, что

¹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, Гиз, 1930 г., стр. 365, подчеркнуто Достоевским.

² «Вестник Европы», 1863 г. № 4, стр. 727.

³ Есть основания предполагать, что статья принадлежит М. Е. Салтыкову.

⁴ М. В. Дальмерт.

«направленская критика» оказалась бессильной сказать о нем что-либо вполне конкретное и вразумительное.

И не субъективные качества «направленной критики» создали это положение; среди критиков 70-х гг. и позднейших были люди, по-своему далеко видевшие: судьба Решетникова в дореволюционной русской критике была исторически обусловлена.

Литературная борьба в конце 60-х и в 70-е гг., о которой мы говорили, хотя и велась в связи с творчеством Решетникова, но имела более глубокие основания. В литературном плане борьба шла за гегемонию в литературе. Начатая Чернышевским и Добролюбовым борьба эта диалектически развивалась, отражая развитие классовой борьбы в стране.

Эпоха конца 60-х и начала 70-х гг. была эпохой отрицания дворянской литературы и становления литературы мелкой буржуазии. Решетников, поскольку его творчество являлось действительным отрицанием помещичьей литературы, был важен и нужен для революционного крыла мелкобуржуазной литературы своею противоположностью писателям-дворянам. Об этой именно противоположности и говорили, ее-то и выдвигали на первый план критики мелкой буржуазии — Скабичевский, Ткачев, Шелгунов, анонимный автор статьи «Напрасные опасения» и даже, как мы видели, Достоевский.

Более внимательный и глубокий анализ решетниковского творчества, хотя бы и с тех методологических позиций, на которых стояла мелкобуржуазная критика, должен был явиться вторым этапом работы по изучению Решетникова, — работы «мирного времени». Но «на другой день после победы» Решетников для мелкой буржуазии был уже пройденной ступенью, а затем стал чужим.

К этому времени далеко зашел процесс философской эволюции мелкой буржуазии от Фейербаха и материализма 60-х гг. к Конту и «позитивизму» 70-х гг.; далеко также зашел процесс движения ее от непримиримости в отношении дворянской литературы к примирению с ней, с «преданиями», которые литература 40-х гг. «оставила молодому литературному поколению» («Напрасные опасения»), к исканию «точки соприкосновения народного реализма с идеальным головным реализмом Рудина» (Шелгунов).

Философские и литературно-эстетические сдвиги революционной мелкой буржуазии начала 70-х гг., конечно, не случайны: они знаменовали, что началась эволюция социально-политической мысли семидесятников в сторону от «преданий» 60-х гг. Белинский последнего периода, Чернышевский, Добролюбов — вся партия «Современника» в 50-е гг. выражала интересы крестьянства в классовой борьбе «кануна освобождения» и революционные настроения того же крестьянства в 60-е гг. Изменение революционной ситуации в деревне на рубеже 60-х и 70-х гг. и социально-экономические сдвиги в ней, укрепившие «благообразного» хозяйственного мужика, породили новые настроения и в мелкой буржуазии. Повидимому, здесь начала создаваться грань, разделившая впоследствии «старое и современное народничество», здесь начало процесса, в результате которого «из крестьянского социализма получилось радикально-демократическое представительство мелкобуржуазного крестьянства»¹.

Примирение в конце 60-х и начале 70-х гг. революционной мелкой буржуазии с дворянскими литературными традициями знаменовало, что литературно-философская и общественная мысль мелкой буржуазии начала новую стадию развития, — стадию оттапливания от традиций и эстетики 60-х гг. В дальнейшем следовало ожидать поворота в отношении народников к Решетникову; это и произошло в конце 70-х и в начале 80-х гг. Отрицательное отношение к Решетникову находим уже в критических статьях Михайловского в начале 80-х гг.; продолжается и развивается оно у Венгерова и у других народнических и «народолюбивых» критиков конца XIX и начала XX века. Исключением является апологетическая статья

¹ Ленин, Собр. соч., 3-е изд., т. I, стр. 175.

М. Протопопова, представляющая любопытную попытку при помощи художественного материала Решетникова воскресить у народнического эпигона боевые настроения героической поры народничества. Выдвигая на первый план «деревенскую» тематику Решетникова, Протопопов первый в критике отмахнулся от решетниковского рабочего цикла, поставив его вне литературы.

Вспышка интереса к Решетникову накануне 1905 г. (в 1901 г. — в связи с 30-летней годовщиной смерти писателя) ничего нового не внесла, за исключением, пожалуй, концепции Андреевича-Соловьева о «подлиповщине» и «глумовщине». Быковы, Игнатовы, Колтановские пошли по пути, указанному Протопоповым; за ним же пошли и «марксистствующие» эпигоны мелкобуржуазной критики¹, причем некоторые из них повторяли ортодоксально-народническую оценку Решетникова Протопоповым и после Октябрьской революции².

2. Решетников и рабочий класс

Решетников — потомок приказного рода и, повидимому, старого приказного рода. На Урале эти роды несколько иначе складывались, чем в средней полосе России. Мальчик из горнорабочих детей попадал в заводскую школу, иногда проходил горнозаводское училище, затем делался конторщиком заводской конторы, а иногда шел и дальше по лестнице конторско-канцелярских чинов, числясь в то же время крепостным или «непременным» работником. В каждом почти произведении Решетникова из его горнозаводского цикла мы находим этих крепостных-чиновников: в «Скрипаче» — Мирон Перевалов, в «Горнозаводских людях» — Максим, в «Горнорабочих» — Илья Назарыч, в «Глумовых» — Курносов, сперва учитель, потом конторщик, — все эти «приказные» — дети горняков.

Немалое число мелких государственных служащих губернских или уездных «присутствий» также составляли прямые потомки рабочих уральских заводов.

«Между Мотовилихой и Пермью, — читаем в неопубликованной рукописи очерка Решетникова «Из провинции», — завязалась тесная дружба... Мотовилихинская грамотная молодежь служит в присутственных местах Перми». Население же Мотовилихи, по изысканию Решетникова, составилось из крепостного рабочего населения Егощинского и Мотовилихинского заводов.

«Посмотри в Тагиле на моего брата, а твоего дядю Алексея, — пишет Решетникову его воспитатель-дядя В. В. Решетников, — у него один же был сын, коего он так хорошо воспитал, что и писать вовсе не умеет... И теперь он в поте лица трудится тяжелою черною работой и снискивает себе кусок хлеба и вдобавок еще оплачивает за себя подати и разные повинности. А ты у меня из этого ига и бремя изъят...»

Так невелико было расстояние между мелкой чиновной средой и средой, обремененной «игом» «тяжелой черной работы», податями и повинностями.

При этих условиях ярко выраженный, специфический демократизм самого Решетникова, его вполне определенные и чрезвычайно устойчивые общественные симпатии и антипатии не являются неожиданными. «Барин», «аристократ», «полубарин», «любит тереться около бар» — такие ярлыки он прищипливает почти всем своим знакомым интеллигентского и полунинтеллигентского круга: родным своей жены — средней руки чиновникам и чиновницам; брестским ее сослуживцам и знакомым — военным врачам и инженерам; литераторам, с которыми Решетников сам сталкивался, и т. п. Каждый из этих людей, кто «не ходит про-

¹ И. Н. Кубиков. Рабочий класс в русской литературе (в 4-м издании 1928 г., главы II и III). Л. Войтоловский. Очерки истории русской литературы XIX — XX вв., ч. II. ГИЗ. М.-Л., 1928 г. и др.

² Протопоповская концепция, слегка модернизированная, в основном воспроизведена и в 1930 г. в статейке В. Белавина, приспособленной к школьному изданию решетниковских «Подлиповцев» («Дешевая библиотека классиков». Школьная серия. ГИЗ. М.-Л., 1930 г.).

сто», кто «не говорит просто с бедными людьми» — для Решетникова «барин» и «аристократ».

Невнимательный читатель Решетникова не всегда заметит перемену в авторском настроении при переходе от картин «аристократического» губернского быта, от салона, например, м-м Тележниковой к мастерской Эмили Карловны Петерсон («Свой хлеб»), от Петра Ивановича Филимонова к рабочим Горшкову или Потемкину («Где лучше?»): Решетников до сухости сдержанно выражает свои чувства в творческом процессе. Но в дневнике его такие переходы от интеллигентских и полунинтеллигентских нравов к «рабочему человеку» ярки и выразительны. Вот умирает, простудившись на работе, муж кормилицы ребенка Решетникова Конон Дорофеевич. Решетников, подробно рассказывающий в дневнике о всех своих знакомых, подробно рассказал и о Кононе Дорофеевиче, о его болезнях и смерти; но рассказал с такой теплотой, нежностью и участием, каких у него нет почти никогда ни для кого из знакомых-интеллигентов.

У Решетникова органическая тяга к «рабочему человеку», органическое сочувствие мыслям и настроениям последнего.

Сохранились страницы рукописи третьей части повести «Между людьми», по неизвестным нам причинам выпавшие из повести. Страницы целиком посвящены питерским рабочим и мастерам и в высшей степени характерны для Решетникова, чувствующего себя в рабочей толпе, как в родной среде, всецело разделяющего ее мысли и чувства и настроения. Из многих имеющихся здесь сцен, диалогов и характеристик рабочих приведем одну, уясняющую угол зрения самого автора на «рабочего человека»:

« — Вот ты мне скажи, коли ты умен, на чем ты и вся ваша братия пишет? — спрашивает в кабачке подвыпивший рабочий чиновника.

— Эх, спросил. На бумаге, разумеется...

— Ладно! А ты не сердись... А бумага-то из чего?

— Из тряпок.

— А тряпки кто делает?.. а бумагу кто делает?

— На фабрике делают.

— Ишь, сам сознался — на фабрике. Я седьмой год на бумажной фабрике-то мастером... Кабы нас не было, не было бы и тряпок и бумаги, ходил бы ты нагишом, и писать бы вам не на чем, и тебе бы денег не давали.

Рабочий сел на место. Толпа захохотала, проговорила:

— Что, брат? Ловко?

Чиновник что-то сказал, но его не слушали, и он сел в угол»¹.

Убеждение в исключительном социально-экономическом значении пролетариата — стойкое убеждение рабочих персонажей Решетникова и его самого.

« — А ведь поговаривают, что воля будет, — сказала несколько голосов.

— Уволят — хорошее дело. Да как погонят с завода, скажут — ты теперь вольный...

— Эка штука! А кто работать станет? Нет, шалишь! Без меня не обойтись им»².

Это сказано еще только «пробующим перо» юношей Решетниковым в 1861 г. Но мысль эта идет через все его творчество.

Из сообщения Г. Успенского известно, что в Екатеринбурге на юношу Решетникова имел сильное влияние рабочий екатеринбургского монетного двора Фотеев, по предположению Новокрещенных обучавшийся своему искусству в Петербурге и, в свою очередь, испытавший влияние радикального и революционного студенчества. Этот Фотеев подсказал Решетникову мысль уехать в центр и мысль сочинениями «делать людям пользу»; но, повидимому, не один Фотеев,

¹ Архив Юдина — Рукописное отделение ИНЛИ при АН СССР.

² «Скрипач». Из заводской жизни. Соч. Ф. Решетникова. г. Пермь, 1861 г. (Рукоп. отд. ИНЛИ АН СССР).

из числа рабочих, был литературным консультантом Решетникова; обращался он за советами и к другим рабочим-екатеринбуржцам.

И вот в 1865 г., когда Решетников переживает резкий творческий кризис, когда старые темы были исчерпаны в статьях «Северной Пчелы», в «Подлиповцах», в «Ставленнике», а новых тем не нашлось, когда его вещи браковались в «Современнике» одна за другой, он вспоминает о рабочей консультации. Забраванными оказались «Горнорабочие», первый этнографический очерк¹.

Решетникову, в течение двух последних лет почти не писавшему на горнозаводские темы, был дорог этот очерк, и непринятие его «Современником» к напечатанию² автора сильно огорчило. Настроение съездить на родину у Решетникова к тому времени созрело. Решетников решает проверить свое произведение старым, испытанным способом. «Не знаю, что делать с «Горнорабочими»? Повезу к горнорабочим и почитаю с Фотеевым...» (Дневник, 9 мая 1868).

К сожалению, никаких письменных материалов не только о литературных, но и о личных связях Решетникова с рабочими, в частности с Фотеевым, пока не разыскано; не разыскана и та часть дневника, по которой Гл. Успенский сообщает свои сведения о дружбе Решетникова с Фотеевым.

В спайке, в единомыслии, наконец в личной связи Решетникова с рабочим людом Петербурга и с горнорабочими Урала мы имеем совершенно ясные указания на органическую близость Решетникова к рабочим.

И, наоборот, нет нигде никаких следов о такой или подобной связи Решетникова с деревней; о деревне, о деревенских делах Решетников думает и пишет постольку, поскольку ею интересовался любой литератор его времени.

Прямой показатель тяги Решетникова к рабочему — не только еще далеко не полный биографический материал, которым мы располагаем, но и все литературное наследие Решетникова.

А. Дивильковский заявляет, что «все произведения последнего периода творчества Решетникова (после «Где лучше?») как бы намеренно избегают чисто пролетарских тем. Лишь посмертный очерк полупрозаического вида «Осиновцы» затрагивает опять-таки жизнь рабочих Мотовилихи». Это утверждение А. Дивильковского не подтверждается фактами. Интерес и влечение к пролетарским темам никогда не угасали в Решетникове: он лелеет план романа о петербургских рабочих, задуманный им еще в 66 г., и не раз возвращается к этому замыслу в своем дневнике; буквально накануне смерти он строит с Новокрещенных план о новой литературной экскурсии на Урал; есть данные о том, что в 69-м и 70-м гг. Решетников не прекращал собирания материалов к роману о петербургских рабочих.

Рабочая тематика, наконец, не чужда и чисто, казалось бы, интеллигентскому проблемному роману «Свой хлеб». В своем творчестве Решетников прочно стоял на позициях рабочей тематики.

Таков Решетников в его отношениях к «рабочему человеку».

И нет никакой надобности модернизировать Решетникова, приукрашивать его, как это делает А. Дивильковский, а вслед за ним и А. Ефремин, когда утверждает, что Решетников «и сам работал на Мотовилихинском заводе в качестве литейщика... плавал с бурлаками... просиживал ночи над архивами пролетарских мартирологов»... Дивильковский же договаривается до «конспирации» и «революционной техники». Не нужны эти пышные украшения, искажающие историческую перспективу и несовместимые с исторической личностью Решетникова.

¹ Не надо смешивать с незаконченным печатанием романом «Горнорабочие». Никаких следов рукописи под этим заглавием до нас не дошло. Есть все основания предполагать, что опубликованный после смерти писателя очерк «Осиновцы» и есть забраванный «Современником» «Горнорабочие».

² Равно и прочитанная Некрасовым нотация за торопливое, излишне самоуверенное и небрежное письмо.

Работа на заводе, о которой Решетников рассказывает в черновике своего письма А. Н. Благовещенскому, — эпизод его поездки в родные места в 1865 г. Из писательского профессионального интереса Решетников пробирался на заводы с приятелями из заводских рабочих, достигая этого путем какой-то мистификации заводского начальства: видимо пробовал принять участие в работе друзей — «мастеровых», причем его «чуть воротом не зашибло» и «смеху было довольно». Особо значения этому придавать нельзя, тем более, что простой подсчет времени пребывания Решетникова в 1865 г. в Перми, Соликамске, Екатеринбурге, Чердыни, Усолии совершенно исключает возможность работы всерьез.

Никаких «архивов пролетарских мартирологов» Решетников также не изучал, если не считать чтения документов по разным горнозаводским делам, подсудным екатеринбургскому уездному суду, в бытность его чиновником этого суда. С бурлаками Решетников плавал, как и все пассажиры на пароходах фирмы «Кавказ и Меркурий», или какой-либо иной...

3. Социально-политическая позиция Решетникова

Установилась традиция вскрывать тематику Решетникова путем анализа чисто внешних, фабулистических ее элементов. В частности, И. Н. Кубиков, усмотрев в настроениях разночинной интеллигенции 60-х гг. «путь личного самоосвобождения, умственного и материального, и путь активного вмешательства в жизнь во имя ее дальнейшего благоустройства», сетует, что «герои Решетникова не в состоянии думать об общечеловеческой правде (?)», что из них «ни на ком нельзя отдохнуть от кошмаров жизни и от неизбежной, но слишком узкой мечты о личной сытости»¹ и что, следовательно, тема Решетникова — это тема о поисках «где лучше?»

Напрашивается параллель с анализом тематики Решетникова, сделанным за 15 лет до Кубикова уже упоминавшимся нами В. Чуйко, подходившим к Решетникову с законченно-буржуазных позиций.

«Столкновение с цивилизацией он (Решетников) понимал только со стороны страдания первобытного человека, он понимал только естественные права человека: право на пищу, на тепло, на одежду, на воздух; другие права ему казались не то что сомнительными, а какими-то искусственными, придуманными с целью пригнетения одних людей другими»².

Нам представляется, что классовое чутье Чуйко подсказало ему более правильное понимание тематики Решетникова, чем Кубикову его печалование об «общечеловеческой правде». Решетников действительно был убежден, что в условиях экономического и обусловленного им социального неравенства «права» придуманы «для пригнетения одних людей другими», хотя и не умел этого выразить в тех терминах, которыми мы пользуемся:

«— Теперь я очень хорошо понял, что те, которые ратуют за свободу, или богачи, или такие люди, которые пользуются особенным почтением тех, которые дают человечество. Настоящей свободы человеку нет; человек всегда будет подчиняться другому и будет находиться в зависимости от людей богатых. Бедному человеку с ничтожным званием нечего и думать о свободе» (Дневник, 3 декабря 1865 г.). Эта оценка благ формальной свободы при экономическом гнете и составляет идейно-тематическую сторону всего решетниковского творчества зрелого периода. Прекрасно понял это редактировавший решетниковский роман «Где лучше» М. Е. Салтыков, определив проблему романа как проблему о «безвыходности некоторых отношений»³.

«Безвыходность некоторых отношений», т. е. неразрешимость социальных противоречий, неразрешимость проблемы бедности в условиях общества, в котором

¹ «Дело». 1916 г., № 3, стр. 12, 16, 17.

² «Наблюдатель» 1891 г., № 8, стр. 61, подчеркнуто Чуйко.

³ М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. ГИЗ. 1925, стр. 54.

есть люди «ничтожного звания», — эта мысль проходит через романы Решетникова, через большинство его очерков и рассказов.

Но знал ли Решетников выход из противоречия, видел ли он единственный для «человечества» путь, на котором они могли бы быть разрешены? — Не знал и не видел. Его политическая мысль была крайне бедна и незрела. Он не разбирается в сущности программных установок радикального реформизма и революции, борющихся в лице партий «Русского Слова» и «Современника», и готов был поддерживать то тех, то других; он совсем помещански путает активных революционеров своего времени с пресловутыми «нигилистами» базаровско-писаревского типа. Он против борьбы революционеров с самодержавием, и выстрел Каракозова не только не встречает у него никакого сочувствия, но он решительно отмежевывается от «злоумышленника». Он думает, что защита рабочего класса вполне совпадает с интересами правительства, и готов агитировать последнее в этом направлении. Он далек от установления какой бы то ни было связи царского самодержавия с «Строгановыми, Демидовыми и прочими дармоедами»¹.

Отрицательное отношение Решетникова к революционным действиям и революционным деятелям его времени не только результат слабости и бедности его политической мысли; оно осложнено еще и его подозрительным недоверием к либерализму, радикализму и революционности интеллигенции.

Есть основания утверждать, что революционную борьбу своего времени Решетников считает «господским» классовым делом.

И тем не менее он решительно отмежевывается не только от реакции, но и от буржуазного и дворянско-либерального лагеря. В этом отношении он совсем не похож на своего полупролетарского предшественника в русской литературе И. Т. Кокорева, который не считал, например, зазорным работать в погодинском «Москвитянине». Своим званием сотрудника «Современника» он гордится; когда органы революционной и радикальной мелкобуржуазной прессы — «Современник» и «Русское Слово» — были разгромлены, Решетников не допускает и мысли о возможности сотрудничать хотя бы в «Отечественных записках» Краевского.

Несочувствие Решетникова революционной борьбе, подозрительное отношение к интеллигенции², низкий уровень политического сознания и несомненный социальный пессимизм — совершенно определенно свидетельствуют, что идеологически Решетников не стоит на уровне передовой части рабочего класса своего времени.

А. С. Бубнов утверждает: «Есть все основания считать, что началом формирования (Северно-русского рабочего) Союза был 1876 г.». Инициаторы этой первой революционной рабочей организации несомненно прошли революционную школу значительно раньше. Рассказ Плеханова о его первых встречах с революционными рабочими также относится к 1876 г., но среди своих гостей рабочих он отмечает и «стажеров» — тюремных сидельцев³. По словам Плеханова, колпинские рабочие тотчас же после каракозовского покушения сложили песню:

«Каракозову спасибо, что хотел убить царя...»

В 1877 г. рабочий Петр Алексеев уже произносит свою знаменитую речь перед судом особого присутствия Сената: «Русскому рабочему народу остается только надеяться на себя и не от кого ждать помощи, кроме от нашей интеллигентной молодежи... Она одна, неразлучно пойдет с нами, пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего класса, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах».

И П. Алексеев и деятели Северно-русского рабочего союза — Халтурин и Обнорский — вышли из рабочих кружков конца 60-х гг. Заявление А. Ефремина,

¹ Черновик письма к Н. А. Благовещенскому. Архив Решетникова, ЛГПБ.

² Это ни в какой мере не оправдывает высокомерного отношения литературной интеллигенции к самому Решетникову, что так явно сквозит в записях его дневника.

Плеханов. Собр. соч., т. III, стр. 130.

что «в то время еще в России не было идеологов рабочего класса»¹, конечно, неверно: они были; только Решетников стоял далеко позади этих идеологов и вообще передовиков рабочего класса конца 60-х и начала 70-х гг. прошлого века. «Героя в смысле передового бойца» нет в его романах не потому, как думает Дивильковский, что его не было в жизни²; «герои» были, но Решетников был способен понять их.

Но в каком же лагере художественный материал Решетникова являлся оружием борьбы? К какому лагерю причислить его самого? Его художественным материалом долгое время пользовался лагерь революции и пользовался правильно. В борьбе за «американский» путь развития, в борьбе за революционные методы чистки страны от остатков феодализма тема Решетникова о «неразрешимости некоторых отношений» была острым оружием, и это понимали и Некрасов, и Салтыков. Своеобразие Решетникова в том, что этот свой вывод он делает, разрешая проблему освобождения пролетариата от экономического рабства. Несмотря на то, что в практической жизни Решетников отрицательно относился к конкретным фактам современного ему революционного движения, художественным своим материалом, проблематикой своего творчества он звал к революционному разрешению вопроса о судьбах капитализма в России. Да и самое его отрицательное отношение к революции, как мы видели, осложнялось недоверием к интеллигентскому ее авангарду.

В свое время Соловьев-Андреевич удачно применил термины «глумовщина» и «подлиповщина» в классификации рабочих персонажей Решетникова. «Подлиповщина» — мужик, выгнанный из деревни земельной теснотой и дикой бедностью, результатом «освободительной» реформы 61-го года, выгнанный в бурлаки, в сезонные рабочие, на железнодорожное строительство, на фабрики и заводы и т. д. «Глумовщина» — «освобожденный» от крепостной или «непременной» работы прирожденный рабочий.

Известные нам юношеские произведения Решетникова — неопубликованный «Скрипач» и полуопубликованный «Раскольник», произведения первого периода литературной его работы «Горнозаводские люди», «Осиновцы», незаконченный печатанием роман «Горнорабочие», прерванный печатанием на 2-й части роман «Глумовы», роман «Где лучше?» и ряд очерков и рассказов — вся эта основная часть произведений Решетникова посвящена «глумовщине». Мало того, здесь именно Решетников с особой остротой и ставит свою проблему о свободе для «бедного человека ничтожного звания». Здесь центр его творчества.

Не безынтересно, что свои рабочие романы, в частности «Горнорабочие», Решетников ставит выше «Подлиповцев», два раза возвращаясь к этому в письмах к Некрасову (черновик одного письма нами здесь воспроизводится). «По моему мнению этот роман будет лучше «Подлиповцев», пишет он в одном письме. И в следующем письме (февраль 1866 г.) опять: «Неужели мой роман хуже «Подлиповцев»? в «Горнорабочих» больше страданий, чем в «Подлиповцах», это каторга, только в другом виде».

Решетников — бытописатель «глумовщины». Но и «подлиповщина» не выпадает из поля его зрения: после «Подлиповцев» он не раз к ней возвращается и дает целую серию очерков и «сцен»: «Старые и новые знакомые», «На заработки», «В деревню», «Женщины Никольского рынка» и ряд других. Большое внимание он уделяет рабочим, связанным так или иначе с деревней, и в романе «Где лучше?» Наряду с оседлым питерским рабочим (Петров, Горшковы, Потемкин и др.), наряду с «таракановскими» выходцами в романе дана большая группа крестьян, устремившихся в сторону на заработки. Их Решетников слабо дифференцирует, они выступают в романе сплошной массой, окружением прибывших в Петербург Горшковых. Но они постоянно в поле авторских интересов.

¹ «На литературном посту», 1931, № 9, стр. 25.

² «Красная новь», 1928, № 12, стр. 26.

Однако интерес Решетникова к «подлиповщине» совершенно не тот, который обычно «проявляет к ней любой народнический автор, рассматривая полуфабричного-полукрестьянина как отбившуюся от стада овцу и всемерно желая скорейшего возвращения ее в «мир». Решетников совершенно не верит в безусловную необходимость такого возвращения. Например, Ивану и Павлу («Подлиповцы») незачем возвращаться в деревню: «развитие их началось с тех пор, как отец повел их в город. В деревне их уму не предстояло развития впереди»¹. Не возвратятся в деревню и питерские рабочие, хотя у них и есть там «свой дом»: «об деревне говорить нечего»².

Мы имеем все основания утверждать, что в русской литературе 60-х гг. Решетников представляет промышленный пролетариат. Но только одно это представительство не дает нам права утверждать, что в его лице мы имеем «пролетписателя» хотя бы и «начального часа»³. «Начальный час», как мы видели, имел уже тогда рабочих вождей, идеология которых была на уровне идеологии передовых бойцов за социализм, а в предвидении путей, которыми пойдет русская революция, подчас и выше их: «подымется мускулистая рука миллионов рабочего класса, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах». Только того писателя, который стоял на уровне этой идеологии, мы могли бы назвать пролетписателем, «лучом на полвека вперед»⁴.

Не был таким «лучом» Решетников; да, кажется нам, и никто в литературе 60-х гг. не был. И тем не менее Решетников социально близок и дорог тем, чем он был на самом деле: писателем, кровно связанным с рабочим классом, знавшим его нужды и боли и протестовавшим, насколько хватало понимания, против «каторги», в которой рабочий класс находился.

Решетников — не пролетарская литература, но ее предистория.

И. Вексляр

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ

ОЦЕРК ИЗ КВАРТИРНЫХ ПРАВОВ.

Один бедный литератор, недавно приехавший из провинции, где жена его имеет казенное место, рассказывал мне вот что. Нанял он в большом доме на Большом проспекте комнатку. Квартиру снимает полка, с которой жена литератора была знакома прежде. Комнатка, которую нанял литератор за 8 руб. в месяц, состояла из пяти стен, из коих две составляли двое дверей — одну, выходящую в прихожую, стеклянную, с разбитыми, но невыпавшими стеклами, сквозь щели которых все-таки можно было видеть, что делается внутри комнатки, и другую, наискось этой, между печкой и третьей стеной, заставленной комодом; третья стена, выходящая в коридор, имеет окно вверху с тремя стеклами; в четвертой стене заключается окно с шестью стеклами, начинающееся от пятой стены, капитальной. В углу комнаты круглая печь с чугунными заслонками, которые имеют назначение запирасть печь, когда дрова разгорятся, и она таким образом нагревается, не имея выюшек; но все-таки через восемь часов делается в комнатке холодно. Зато она имеет то достоинство, что в ней слышно, что говорится в трех соседних с нею комнатах. Когда литератор нанял эту комнатку, у хозяйки не было еще жильцов и не

¹ «Подлиповцы». 1867, стр. 111.

² «Где лучше?», 1869, стр. 390.

³ Дивильковский. «Красная новь», 1928, № 12.

⁴ Там же, стр. 255.

было даже мебели, так что он после отдачи задатка маялся с женой и дочкой, только что начавшей бегать, кое-где. Невесело прожил литератор с семьей пять дней в этой квартире, потому что печь топили через день двумя полешками, так что с большим трудом можно было сварить для дочки кашу; дочка заболела и стала плакать, а это в то время уже бывшим в квартире жильцам не нравилось, и они стали говорить хозяйке, чтоб она отказала литератору в квартире. Жена литератора, приезжавшая в столицу на короткое время, нерадостно провела в комнатке мужа время и уехала с девочкой на службу.

Остался литератор один в комнатке и заскучал. Денег два рубля, на них не много разгуляешься, а получишь долги нескоро, потому что приехал-то в такое время, когда ни у кого денег нет..., т. е. еще не началась подписка. И стал он домоседом, стал выпивать по рюмочке, да закусывать горькой редечкой.

Скоро он узнал, кто жильцы: в одной комнате, напротив него, живут два студента поляка, в другой тоже студент поляк, в третьей — запятанный чиновник, имеющий русскую фамилию, в четвертой — хозяйка с помощницами, тоже польками. Ну, — думает литератор, — не в свои я сани сел, чего доброго жильцы невзлюбят литератора. Однако, собравши кое-какие долги, отдал хозяйке за месяц вперед. И живет литератор день, два, неделю ничего, начинает свыкаться с одинокой жизнью, не сближаясь с жильцами, хотя один из них даже и кланялся ему раза два. Нет ему никакого дела до соседей, и думает: и соседям до меня нет дела. Но чорт силен на искушения: надо, говорит, узнать, что они за люди, нельзя ли с ними время провести. И узнал он из ихней жизни то, что чиновник два дня сидит безвыходно дома, а если и придет откуда-нибудь, так ласкает старую кухарку. Стал замечать литератор, что чиновнику нравится соседство молоденьких швей и что он все чаще разговаривает с ними и через стену, и в дверях. Двое студентов все больше дома сидят и занимаются книгами; к ним ходит много гостей и кухарка их любит. Прожил литератор месяц на квартире и ни с кем не познакомился, держал себя так же, как и сосед его за печкой. «Вот, — думает литератор, — соседям моим весело живется: они то и дело трутся около девушек. И приятелей у них много, и угощаются они хорошо — значит лучше тебя обеспечены; кабы деньги были, угостил бы я их, а то какое без денег знакомство». Однако стал литератор замечать, что и соседи им интересуются.

— Кто живет напротив?

— Какой-то литератор.

— Как фамилия?

— Ляшкин.

— Неужели?!

— А что?

— Да ведь он в X участвовал.

«Ну, — думает литератор, — дело плохо. Станут, пожалуй, приглашать к себе, затаскают... Стану-ка я от них подальше». Но напрасно так думал литератор: сколько он ни встречался с соседями в коридоре, — все отворачивались от него, — значит презирают. Ну, и плевать. И ведет литератор скромную жизнь: встанет, чайку попьет, попишет и, как попадется забористое место, — хватит водки, и прощай работа. Рюмочка за рюмочкой, и напьется к вечеру, а утром нужно идти куда-нибудь по делам. А тут кухарка не стала мести пол, а если и затопит печь, так для того, чтобы не топить плиту, а

изготовить кушанье, согреть уюги в комнате литератора. Смотрит, смотрит литератор, надоест эта возня, ругань кухарки, что чугуны в печь не лезут,— а сказать совестно, что она своей варкой все тепло у литератора расходует, так как печь закрывали, когда в ней не было ни одного уголька. Да как было и не претендовать литератору, когда ни у одного жильца печи не топят, самовары подают, им тотчас же, как они спросят, и после чаю они уходят, а спросит литератор теплой воды, а старуха говорит: подождешь.

Он просит Христа ради, ссылается на холод.

— Успеешь, не велик барин.

«Ну, коли я не барин,— думает литератор,— нечего и просить самовара». И не стал просить ничего. Литератора совсем забыли. От этого у него сделалось сыро, холодно, грязно, развелось множество блох. Хотел он купить себе щетку — пожалел денег, хозяйской помел — пол портит. Плюнул на все и дня три провалился на своем крошечном диване под теплым пальто, попивая от холода водку.

«Нет,— думает литератор,— надо подарить всеми уважаемую нашу старуху Дарью Адамовну».

Дал ей рубль, и что жел.. вымыла пол, окошко вытерла, печь истопила и даже сапоги худые вычистила...

Зато невзлюбила литератора хозяйка.

— Этому пьянице,— говорила она раз,— ничего не нужно давать и делать, кроме воды на чай, да и то не больше двух раз.

А старуха приносит ему вдруг целый самовар. Раньше старуха приносила два чайника — один с чаем, другой с кипятком, и чашку чайную.

— Зачем ты ему самовар носишь?

— Ну, а как? — удивляется старуха.

«Литератор Ляшкин Дарье Адамовне рубль подарил», — говорят жильцы, хлопая ладонями старуху.

Чиновник подружился с двумя студентами: они у него и он у них часто бывают. Думает литератор: чем он хуже чиновника?

И раскусил...

Раз вечером идет литератор на черный ход мимо двери, где живет чиновник и слышит:

— Это он, Ляшкин, написал донос,— говорил чиновник.

Кровь прилила к литераторской голове. «Господи,— думает,— что за напасть такая!»

В тот же вечер у студентов были гости, а литератор сидел затворившись и писал статью.

— Ляшкин женат! — вдруг услышалось ему из соседней комнаты.

Он бросил перо.

— Но он развелся с ней, теперь живет с метресой. А она, вероятно, имеет там душеньку.

— Хозяйка говорила, что он взял ее бедную и как женился, обоим нечего стало есть. Вот он и выхлопотал ей место.

— Скотина! хорош литератор!

— Она, жена его, говорила хозяйке, что они оба приносят пользу обществу: оба работают.

— Знаем мы ихнюю работу! Известно, акушерки выходят из... и все...

— Но кто же он-то? Дворянничка или студент?

— Это какой-то отставной писчишка.

Бедному литератору показался очень занятым этот разговор, но я,— рассказывает он,— сидел, как пригвожденный к месту, потому

что тут про меня; про литературу и мою жену говорились такие вещи, какие я не ожидал от студентов. Но в семье не без уroda, и литератор успокоился.

Квартира ему все-так нравилась: ему приносили обед из кухмистерской, он жил среди промышленного класса. Сенная — рукой подать, и надеялся прожить до тех пор, покуда бог грехи терпит.

«А мало ли что жильцы говорят! — думает литератор, — на всякий роток не накинешь платок; позовут меня — ладно, а мне с какой стати звать их, когда я не имею тех средств, какие имеют они. Опять, о чем мне и говорить-то с ними: они — дети помещиков, говорят о женщинах, картежной игре: о чем больше толковать за водкой или пивом. Отчего и не посплетничать, когда книги брошены в сторону. Ведь не все же слушают лекции для пользы науке. Ну, а что мне знакомиться с такими студентами, которые готовятся быть господами. У меня и без них есть честные, хорошие люди, с которыми и без водки и без карт проводится весело время». Случалось и надоедали соседи литератору своими песнями, плясками, скачками по-козляному, — ведь и литератор был молод, но между его знакомыми все-таки плясунов и скакунов теперь нет.

Одно только удивляло литератора: откуда это они знают, что он горькая, беспробудная пьяница, когда он большую половину суток читает или пишет? Мне хотелось, — говорил он, — сказать им, что они ошибаются; мне хотелось рассказать им, почему я не живу с женою вместе здесь, почему я и там не могу жить с ней; хотел сказать им, что студентам неприлично говорить худо о всякой женщине, не зная ее, что если так понимать брак и обвинять мужа и жену в том, что они, по случаю добывания себе куска хлеба и для пользы обществу, не могут жить вместе несколько месяцев в году, — значит чего и языки чесать о доставлении женщине самостоятельной жизни...

Наконец узнал литератор, почему соседи называют его пьяницей.

Приходит кухарка утром в девять часов. Дверь заперта. Он давно пробудился, но не встал, потому что холодно.

Встает, кладет чаю в чайник и ложится снова.

— Лежит! — слышит он голос старухи из кухни.

В комнате хозяйки хохот. Чиновник мычит; соседи хохочут.

После того как старуха уносит посуду, литератор запирает дверь и сидит взаперти до тех пор, пока не принесут газету, и опять запирается. Два дня подряд литератор до третьего часу не был дома. Газету читали жильцы. Двери были заперты.

— Газета! — кричит швея, идя по коридору и шурша бумагой.

— Давайте — он пьян, — говорит жилец.

А литератор был трезв. Такой отзыв взбесил его, и он пошел, взяв газету и потом после обеда не отпирал уж дверей до утра. — Каюсь, — говорил он, — был выпивши.

Со следующего дня литератор водку бросил совсем и принялся крепко за работу. Я, говорит, стал писать с раннего утра, т. е. с 4 часов, и до поздней ночи и даже первую ночь не мог спать от блох, но обошлось и без водки дело. В первый день даже и обедать не ходил. Второй день прошел лучше первого: я, говорит он, сделался совсем свежим человеком. Работа моя шла отлично.

К вечеру литератор устал и прилег на диванчик с трубкой. В комнате, противоположной стеклянным дверям, какой-то оратор говорит без умолку, и вдруг литератор слышит свою фамилию.

— Это такой пьяница, что я и не видывал. Притом, должно быть, развратник.

— Но на что он пьет?

— Не знаю. Пишет где-то. Его жена много денег получила.

«Хороши,— думает он,— студенты, что не читают ничего, кроме газет».

Потом слышит, что оратор начал рассказ о соседе чиновнике, и из этого рассказа он узнал, что оратору надоел чиновник, не нравится, что он пустой человек, хочет спить оратора, и рассказав происхождение его отставки: чиновника уволили будто бы вследствие литературского доноса. Далее оратор начал расписывать историю литератора и его жены.

Про литератора оратор говорил, что он что-то пишет, и ему хотелось бы узнать, каково он пишет. Литератора это заинтересовало, но чем дальше он слушал, тем больше находил в этом рассказе неправды и какой-то злобы: «я, говорит, был оподлен и огажен». Но и тут думает он: пусть их, мое к ним не прильнет.

— И отчего бы ему не притти к нам! — слышит литератор.

Литератор подумал: итти разве и сказать, что они ошибаются, считая меня таким мерзким человеком.

— Я бы ему поставил полуштоф. На, мол, пьянствуй и спи здесь, по крайней мере тебя видно будет.

Этого-то уж литератор никак не ожидал.

Когда, говорит, я пил чай, пришел чиновник с гостем. По голосу видно, что он подкутивши. Вошел в комнату и говорит громко про литератора, что тот про него написал донос в одной газете и его вследствие этого уволили.

Это говорилось так уверенно и так громко, что литератору стало ясно, что чиновник положительно думает, что он доносчик, а так как чиновник шатается по гостиницам и имеет приятелей, то немудрено, что про литератора далеко пойдет слава, а по этому литератору, пожалуй, будут судить и о других...

— Я пойду к нему... он выписывает эти газеты, и попрошу его обясниться,— говорил чиновник.

— Зачем! — унимал его приятель.

— Нет, я пойду. Я налицо Ляшкина приведу... Ляшкин дома? — спросил он кухарку. Та сказала.

Литератор сел за книгу. Двери чиновник запер. Кухарка взяла посуду. Хозяйка в это время рубила капусту в кухне.

— Что Ляшкин делает? — спросила хозяйка кухарку.

— Книгу читает.

— Надо его позвать. Видно, что-нибудь жена неприятное пишет, что он все сидит дома. Поди, позови его кофе пить.

Мне так сделалось горько и обидно, что я запер дверь.

— Заперся! — говорит кухарка.

Вышел чиновник.

— Ляшкин дома? — спросил он хозяйку.

— Заперся... Он пьян.

— Но есть огонь. Я пойду к нему. Я его и пьяного приведу.

Литератор погасил свечку.

Но гость скоро ушел, и чиновник заперся.

— Пьет! Все пьет! — услышал литератор из противоположной комнаты через стену.

— Удивительно,— говорит чиновник тоже через стену.

— Совсем спился!

— Он писал сегодня,— сказала старуха.

— Может ли что пьяница написать. — Скоро один жилец ушел.

— Доносчик, каналья! Ребра ему, мерзавцу, надо пересчитать! — кричал чиновник.

Меня,— говорит литератор,— трясло от злости, я оделся, пошел в кухню и услышал:

— Надо ему отказать. У нас давно просят эту комнату. Это скотина какая-то, даже никому не кланяется,— говорила хозяйка.

Литератор вошел в кухню, но от злости ничего не мог выговорить. Мысли его перепутались, и он пошел на задний ход, чтобы немножко освежиться.

Затем много было говорено насчет литератора неприятного. Он хотел объяснить с хозяйкой и поговорить с чиновником. Попросил Дарью Адамовну спросить хозяйку: звала ли его она к себе, или нет?

Та спросила.

Хозяйка захохотала, девицы тоже и убежали из кухни в свою комнату.

Пришел жилец-оратор.

— Каков Ляшкин-то! ха-ха! — говорил чиновник.

— Ляшкин пьян?

— Какова каналья! к хозяйке напрашивается.

Теперь уже разговор шел на все три комнаты. Студента в соседней со мной комнате не было дома и он ничего не знал.

— Да он с ума сошел!

— Спился.

— Он зарежется.

— Господи! Вот беда. Да он нас зарежет всех.

— Надо за доктором послать; в часть его отправить, каналью.

Разговор на эту тему продолжался с полчаса. Литератор то зажигал свечку, то гасил, потому что к его комнате то и дело подходили.

— Огонь!

— Пьет!!

— Погасил!

— Ну, теперь зарежется...

Литератор не знал, что ему делать. Итти куда-нибудь,— не к кому. Чиновник ушел за полицией; в это время пришел сосед.

Одевшись, литератор пошел к хозяйке.

— Послушайте,— начал литератор дрожащим голосом,— что это вы за историю поднимаете на мой счет?

— Какую! Господь с вами! — сказала хозяйка.

— Как какую: все говорят, что я пьян. Ведь я не глух.

— Полноте! Вы ослышались: это говорят про гостя одного жильца. А мы все о вас хорошего мнения. Никто о вас дурного не говорил, потому что вы примерный жилец.

Я,— говорит литератор,— решительно не понимал — не во сне ли все это я слышал?

— Я вам говорю, что дело идет обо мне. Я вовсе не пьян, а если и выпивал раньше понемногу, так я теперь совершенно ни капли не беру в рот.

— Полноте... До этого никому нет дела. Да и жильцы вас не знают.

Я ушел, думая, что действительно я обслышался, и стал ждать дворника. Во всей квартире было тихо.

Наконец, вошел в кухню дворник.

— Ляшкин, вы говорите, зарезаться хочет. Зарезался? — спросил дворник.

— Нет! ступай! — сказала хозяйка шопотом.

— То-то. — Дворник ушел.

— Опять я должно быть облысывался, — говорит литератор.

Но вдруг заговорили вполголоса.

— Какая шельма!

— Какое у него ухо! Должно быть, он верно пишет!

Огонь литератор погасил и встал в двери, для того, чтобы удостовериться: не облысывался ли он, сидя на диванчике; но теперь уже говорили шопотом, смеялись громко. Сперва удивлялись тому, что он хорошо подслушал, но потом, вероятно, пришли, к тому убеждению, что его можно обмануть тем, что он облысывался, и стали говорить в таком роде:

— А мы и не знали, что он пьяница. Сам сказал, что раньше выпивал.

— Вот и видно — может ли он что хорошее писать.

— А эти пьяницы, впрочем, талантливые люди, — заметил чиновник.

— Да мы его вовсе не считали пьяницей.

«Господи, — думает литератор, — что это? Кого они разыгрывают из меня? Неужели со мной горячка? Но с чего?»

Зажег литератор свечку. Прочитал несколько строк из новой работы... «Нет! Они из меня дурака строят: или, может быть, они думают, что я действительно пьян, или хотят выжить меня». И литератор решил искать квартиру.

— Посмотрите, спит ли он, — говорит девушка швея.

Кто-то выходит в коридор и говорит:

— Огонь.

— Выпивает, — заметил сосед, услышав, что я стал выколачивать из трубки пепел.

— А ведь он ничего теперь не помнит.

Всех разговоров было много; были всякие.

Литератор взял книгу, но слова прыгали; голова отяжелела.

Вдруг заперли все двери. Вероятно, боялись, чтобы литератор не убил кого-нибудь, или чтобы еще чего-нибудь не подслушал.

Литератор не спал всю ночь.

Кое-как дождался он света и написал хозяйке записку, что съезжает с ее квартиры через пять дней, а не теперь, потому что нужно дожидаться с почты повестки; изложил мысль, что он не дурак, такая история могла бы и пьяному показаться неприличной, и просил ее, во-первых, передать жильцам, чтобы они были насчет жильца-литератора вежливее. В заключение просил чиновника объяснить ему, действительно



Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

С фотографией (1864 г.), хранящейся в Институте Новой Русской Литературы

но ли он думает, что донос написал литератор. Если он ему не объяснит, то это его мнение грозил опубликовать в газетах. В Р. С. выставил число своего отъезда из Петербурга в провинцию, так что, по словам чиновника, оказывается, что донос напечатан раньше отъезда литератора в провинцию.

Все жильцы целых два часа шептались. Одно только литератор слышал: они настаивали у хозяйки, чтобы его прогнать в этот же день.

Когда дома осталось только двое жильцов, литератор пошел умыться, и что же! хозяйка ему сказала, что он это все во сне видел.

Но не то оказалось на деле, как потом литератор через два часа пришел домой:

Половина жильцов были пьяны, к ним то и дело приходили гости и, приходя спрашивали:

— Что за история?

— Скандал!

— Чтобы чем худым не кончилось! Он, пожалуй, опишет нас в газетах. Фамилии выставит.

— Пусть-ка он попробует! Мы напишем, что он пьяница, — все это в бреду написано.

— Надо всех студентов сговорить, чтоб и они написали, что он пьяница, негодяй, мерзавец.

А через три часа еще хуже. Пили все жильцы, за исключением одного, которого не было дома.

— Надо выгнать его!

— Ох, дорого бы я дал, если б он мне теперь на глаза попался.

— Хозяйка, выгоните его сейчас, сию минуту. Мы вам заплатим деньги.

— Ах, что Ляшкин мне наделал. Охо-хо, хозяйка

— Его из Х** выгнали.

— Он в И** вас опишет.

— Где ему в И**: его отовсюду прогнали.

— Да что он писал до сих пор?

— Я вам говорю, он не литератор — мазурик! вор!! Хозяйка, закройте все двери, чтобы он не обокрал вас и нас.

И действительно, от литератора заперлись крепко и говорить о литераторе собирались к хозяйке. Чтобы пройти к ней с чистого хода, нужно было отворить трое дверей, которые прежде никогда не запирались.

На другой день хозяйку усиленно просили выгнать литератора; говорили, что если он будет жить в этих краях, то ему не будет покою. Но хозяйке было совестно отказывать ему, да и не хотелось ей возвращать ему деньги.

Литератор с'ехал с квартиры и его отъезду все жильцы аплодировали.

Передавая этот рассказ со слов литератора, автор не ручается за достоверность его. А если он действителен, то очень жалеет, что в изгнании литератора принимали участие люди развитые, на которых общество привыкло смотреть с доверием. В семье не без урода. И этим автор вовсе не хочет защищать литератора, который, действительно, может быть, переехал на эту квартиру, жил на ней и с'ехал с нее в белой горячке.

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Недавно я обедал в одной из петербургских кухмистерских. По окончании обеда, я стал читать газету, но так как в комнате было много народу и каждый человек был уже навеселе, то чтение казалось не совсем удобно: крупные происшествия врезывались в голову; газету приходилось класть назад, потому что рассказы людей были интереснее печатного. Наконец, меня заинтересовал один господин, недавно пришедший. Он был среднего роста, одетый в пальто неказистой формы — так что сразу можно было отличить в нем человека мастерового, на голове мерлушчатая шапка. Лицо его было избито и обезображено так, что сразу можно было подумать, что этого мастерового избили на каком-нибудь вечере...¹ при получении денег.

В нашей кухмистерской обедают люди почтенные, и потому многие из обедающих подозрительно взглянули на обезображенную физиономию вошедшего, когда он велел подать себе обед и потом сел к одному пустому столу, охая при каждом повороте головы, при движениях руками.

— Да у те есть ли деньги-то? спросила его разбитная женщина.

— Есть... дайте... если можно, — проговорил он болезненным голосом и вынул деньги.

Сидевший за противоположным окном мастер-немец, лицом к нему, спросил его:

— Угостили хорошо?

— Нафилармонили, — произнес избитый.

— Где же?

— На филармоническом вечере.

— На каком? — спросили двое господ в меховых пальто, собиравшихся уже выходить.

Избитый повторил сказанное.

— Да мы сами там были. Это было седьмого января, в Дворянском собрании.

— Да. Восьмого января такого-то года была моя свадьба, но на ней не было такой филармонии.

— Странно... мы были сами, но у нас рожи не избиты.

— То-то што вы были в Дворянском собрании, слушали музыку настоящую, а я, вместо Дворянского собрания, попал сперва в участок, а потом в часть и надо мной была исполнена такая отличная музыка, о которой всю жизнь не забудешь.

— Должно быть, ты был где-нибудь около части, а не Дворянского собрания?

— То-то и есть, что я Дворянское собрание, т. е. дом-то, только едва-едва разглядел... Да! славный был вечер. Сегодня ходил в баню, попарил синяки, да что-то плохо помогло. Придется верно похворать недельку-другую... Буду я об этом вечере, буду я о нем вспоминать всю жизнь... Но вам, господа, не советую, когда вы будете немножко выпивши, как был и я седьмого числа, искать развлечений: как раз угодите на такой вечер.

— Но как же тебя черти угораздили попасть на такую комедию?

— Очень просто. Слыхал я, что 7 января будет в Дворянском собрании филармонический вечер или концерт, — право забыл. Знал я только, что там будет хорошая музыка и пение, но не знал, когда начало. Раньше я не ходил брать билета, потому что у меня не было времени,

¹ Одно слово редакцией «Нового обозрения» не разобрано, о чем имеется сноска в газете.

а живу я от Дворянского собрания за четыре версты; такие же газеты, в которых можно узнать о концерте, не всегда достанешь, если имеешь много работы и тебе некогда часто расхаживать по кухмистерским. Ну, вот, седьмого января, в это незабвенное для меня число, я отправился к Дворянскому собранию. Надо вам заметить, что у меня время дорого, я машинист, и если я поехал, то, значит, у меня было свободное время, и я этим временем располагал, как умел. Но чорт меня сунул зайти в портерную и выпить две кружки пива, от чего я и засиделся в портерной до шести часов. Ну, думаю, если я теперь не поеду, то мне пожалуй и не удастся в другой раз послушать филармонического концерта. Надо будет во что бы то ни стало добыть билет. Поехал. Приезжаю. Около Собрания стоят кареты. Ну, думаю, еще приехал рано, и на хорах мне придется претть. Тут я спохватился, что я забыл очки, но, чтобы не опоздать покупкой билета, я подхожу к одному под'езду и спрашиваю городского:

— Куда на хоры?

— Билет!

— Покажите, где мне можно получить билет.

Но городской пошел отгонять извозчика, и я пошел в другой под'езд. Отворивши двери, я увидел много уже одевающихся людей и, думая, что я попал не туда, пошел в третий под'езд, но там меня схватил за рукав полицеймейстер.

— Куда?

— На концерт.

— Кто такой?

— Мастеровой.

— Ты, братец, пьян, — не знаешь, куда лезешь. Городовой, взять его в участок!

И меня городской повел в участок.

И начал я скорбеть!.. Горько мне стало; лучше было дома поиграть на гармонии, чем разыскивать дураку концерты.

— Это куда же вы меня ведете? — спросил я городского.

— Узнаешь — куда! Увидишь филантронию... Мы тебя поучим, как по дворянским собраниям шляться.

— Послушайте... Да ведь я хотел за свои деньги слушать.

— Ну.. ну.. иди знай вперед! — И он толкнул меня, потом взял извозчика.

— Што же это такое? Пиво, што ли, бродит в моей голове. Нет! городской сидит рядом, смотрит как-то неприятно на меня, считая меня за мазурика.

— За что же меня взяли-то? — спросил я городского.

— Не ругай полковника.

— Разве я ругал? И как вам не стыдно говорить-то это?

— Ты, братец, не ругайся... Нынче...

Но он не кончил — мы под'ехали к под'езду участка.

Городовой мне велел подниматься по лестнице. Поднялся. Узкая прихожая с полукруглым окном в канцелярию, что-то вроде стола и дольки — вероятно, диван с провалившейся подушкой. Из канцелярии вышел высокий человек в эполетах.

— Откуда? — спросил он городского.

Тот сказал.

— Кто ты такой? — крикнул на меня офицер так, что как будто я убил человека.

— Мастеровой... Я шел слушать филармонический концерт.

— А! — И я был оглушен здоровою оплеухой, от которой меня отшатнуло в сторону.

— Што вы деретесь-то? — сказал я.

Но я был оглушен уже двумя офицерскими оплеухами.

— Он полковника обругал пьяницей, — пояснил городской.

— А! ты так! Вот... вот! Бей его, мерзавца! Бей его до полусмерти!

И меня били жестоко. Я лежал на полу и только молился: господи, укроти филармонию... Никогда больше не стану разыскивать хороших концертов.

Слава богу, оставили целого, но сильно измятого.

Наконец, городской повел меня в часть; но мы шли немного, городской взял извозчика. От городского я узнал, что филармонический концерт уже давно окончился, и тут-то я спохватился, что я сунулся в воду, не спросясь броду. Городской был вежлив и сообщил мне, что меня, быть может, и выпустят завтра.

О, роковое это слово «быть может»!

— А бить будут? — спросил я городского.

— Накладут...

— Но за что? за что, господи! — возопил я.

Долго мы ехали от участка в часть; много миновали мы народу. Весь хмель у меня прошел, от побоев, стыдно мне было людей, тех людей, которые шли пешком. Попадались даже и пьяные, и я бы дорогов дал городскому, если бы он меня пустил, но городской помалкивал и извозчик говорил про меня: знать, впервые привелось на сапожках кататься. Ишь, любите даром ездить, мазурики эдакие!.. Пустит тебя пешком — небось убежишь ведь!..

Было уже темно, как мы приехали в часть; но здесь уже угощение было получше.

Сперва меня ударил городской за то, что я не стал платить извозчику деньги, и, отняв у меня портмоне, сам рассчитался с извозчиком, потом портмоне возвратил мне.

— При бумаге из участку... Обругал полковника, — сказал городской дежурному.

— Ты?... ты обругал! — закричал дежурный офицер, сопровождая слова ударами.

Я молчал. Тут былолюдно, мрачно. Голова моя и бока мои начали болеть.

— Што ж ты молчишь? — крикнул другой — повидимому, из подчасков, ударив меня в шею, так что я толкнулся на что-то твердое, но оттуда тотчас же отскочил от удара в угол.

— Как вы смеете драться?! — крикнул я с остервенением, но меня вытолкали в дверь на двор и через три минуты втолкнули с побоями в темную, большую, грязную, вонючую избу — не избу, комнату — не комнату, подвал — не подвал, освещенный лампой с керосином. В ней слышалось множество голосов, в нее доходили откуда-то песни, свистки, ругань.

— Вот тебе и филармония! — проговорил я.

— Зададим мы тебе гармонию. Раздеть его! — крикнул дежурный городовой.

Я не стал давать своей одежды, но я не знал полицейских порядков: я был здесь, как игрушка, как котенок, которого ребятишки пичкают и таскают за хвост, как угодно. Так над моей особой излавчивались отличным образом, колотя в щеки, по голове, в грудь и особенно в шею. И я молчал, думая: скоро ли они мне отведут квартиру. Но долго еще сопровождалось отрезвление. С меня было снято все, кроме

рубашки и подштанников; но зато теперь больше были удары, голые мои ноги зябли от холодного сырого пола.

Думал ли я когда-нибудь попасть так неожиданно в этот вертеп?

Наконец, меня втолкнули в удушливый темный коридор, по обеим сторонам которого сквозь деревянные решетки едва мелькал огонь и откуда выглядывали, как призраки в тумане, люди в рубахах или рваных поддевах. По обеим сторонам народ говорил, ругался, по коридору кто-то ходил, и сопровождали меня удары до двери в одну камору, называемую мышеловкой. Эта камора сажени полторы длины, около сажени ширины и сажени полторы вышины, с полукруглым окном почти около потолка над нарами, устрсенными на поларшина от полу, с когда-то крашеными охрой стенами, с отстающей уже штукатуркой, с грязным полом, на который постоянно плюют, — была пропитана махоркой и другим запахом. Камора освещалась изломанной лампой; в каморе топилась печь; у двери висело ведро с водой. Камора была набита людьми: народ сидел и лежал на нарах, лежал под нарами, сидел на полу, стоял около стен.

— Пьяницу привели! спрыски надо делать, — кричали арестанты.

Я стоял среди полу; меня не пускали ни на нары, ни под нары, ни на пол.

— Дайте барину подушку!

И меня ударили в шею.

— Братцы, меня уже много били! — сказал я, плача.

— Дайте ему платочек слезы утереть.

Я не буду описывать вам всего подробно, как меня били. Но в каморе били меня немного. Я сказал арестантам, что у меня есть деньги, которые отобрал от меня дежурный, и обещался дать им рубль перед выпуском. За это мне дозволили лечь на нары и даже давали покурить табаку. Но с непривычки, братцы мои, да еще избитому, не очень-то приятно лежать на голых досках, подложивши под голову кулак. Но еще неприятнее, вместо филармонического концерта, попасть в мышеловку.

Камора наша не запиралась на замок и так как она находилась рядом с отхожим местом, то дверь отпирали часто; к нам приходили посетители, которые приходили посмотреть на пьяницу, но я лежал, прикинувшись очень больным.

— Саданите его хорошенько, чтобы он чувствовал, каково в часть попадать.

— Чувствую, други! Ох, как чувствую... Едва жив.

— Не беспокойся — не убьют. Здесь бьют ловко, умеючи. Хорошу ли ты науку-то прошел?

— Хорошу.

— То-то. От нас еще достанется — свезут в больницу, а потом и на кладбище.

— Да разве они смеют бить?

— Толкуй. Место такое, што бить можно: начальство не побьет, мы побьем.

После ужина пришел дежурный, посмотреть меня.

— Жив ли ты? — спросил он у меня.

— Не бейте меня, ради Христа, — взмолился я.

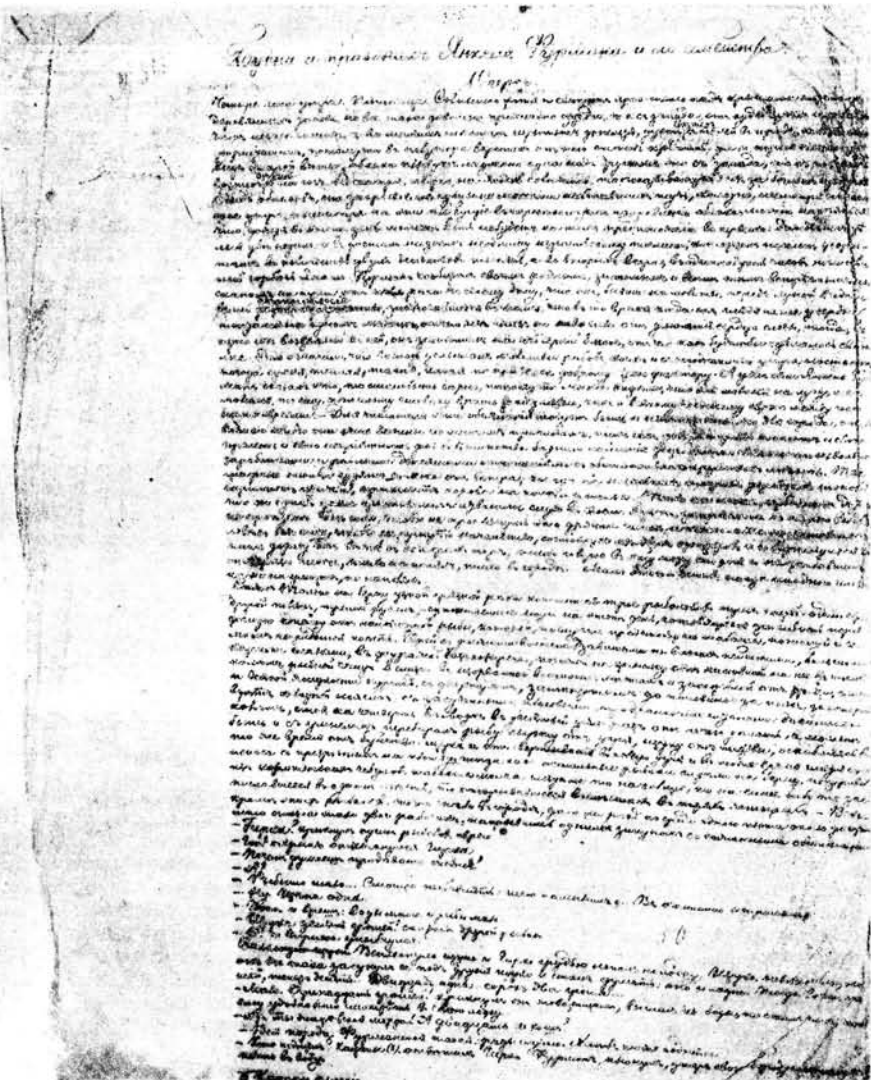
Но он повернулся, а потом проговорил арестантам:

— Берегите его! смотрите... что будет, донести мне, — и он ушел.

— Ловко же они его побили.

Немного погодя по коридору разнесся чей-то вой.

— Пьяницу обивают! — кричали с радостью арестанты.



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ОЧЕРКА Ф. М. РЕШЕТНИКОВА «БУДНИ И ПРАЗДНИК ЯНКСЕЛЯ ФУРМАНА И ЕГО СЕМЕЙСТВА».

С подлинника, хранящегося в Гос. Публичной Библиотеке в Ленинграде

— Неужели здесь, в участке, и в части начальство всегда бьет пьяниц?

— Вырезвляет отлично. В другой раз не захочешь.

— Еще бы!..

Пришел другой пьяница, но его лицо было не избито. Он плакал и говорил, что у него нет ни копейки денег, и его не пускали даже на пол.

— Ты не на концерт ли ходил? — спросил я товарища, когда меня вновь прибывший арестант из тутюшних стащил с нар.

— Нет! городского обругал.

Я рассказал свои похождения, и арестанты прозвали меня филмонией.

Ночь я пролежал под нарами, где даже и повернуться было нельзя и куда сверху в щели плевали старосты и хозяева этой каморы. Такое удовольствие мне досталось еще потому, что я обещал арестантам

деньги, но другого пьяницу арестанты довели до того, что он ушел жаловаться дежурному, который и велел ему ночевать где-то в коридоре.

А очень приятно лежать под нарами, особенно когда арестанты поют песни... Хотя эти песни не совсем хороши, но их слушаешь даром; а в Дворянском собрании мне на хоры пришлось бы заплатить рубль, да кроме того, платить за одежду...

Утром я получил свою одежду и облекся в нее. Не украли ее; даже платок был в целости, только я никак не ожидал, что спину моего пальто разрисуют мелом, так что без щетки этот круг с крестом в середине никак не сотрешь. И вот с этим крестом на другой день мне пришлось прежде получения свободы исходить пол-Петербурга от части к двум участкам и притти с ним домой.

КОММЕНТАРИИ

В 1884—85 гг. в отдаленном тифлисском «Новом обозрении» были опубликованы впервые два рассказа Решетникова: «Филармонический концерт» (№ 47, от 18 февраля 1884 г.) и «Трудно поверить» (№ 548, от 28 июля 1885 г.).

Затерянные на столбах газеты, не имевшей широкого распространения, оба рассказа оставались неизвестными и библиографам Решетникова (Быков, Венгеров, Мезьер), и его редакторам. Лишь теперь впервые рассказы эти переиздаются в «Литературном наследстве».

Как видно из примечаний редакции «Нового обозрения», рассказы доставлены «вдовой покойного писателя» — первый «при любезном содействии» и посредничестве Гл. И. Успенского, второй — «при любезном посредничестве Н. Я. Николадзе».

Оба рассказа написаны зимой 1867/68 г., когда Решетников оставался в Петербурге один, без семьи, жившей в Брест-Литовске; оба отражают действительные переживания Ф. М.

Рассказ «Трудно поверить» был написан в ноябре 1867 г. для «Искры», но «Куручкин его не напечатал, назвав «белой горячкой» (Дневник, 31 октября 1868 г.) Рассказ действительно отражает болезненное состояние Решетникова. Заброшенность, материальные лишения, на которые постоянно указывали биографы Решетникова и авторы воспоминаний о нем, не все и не главное для определения его как социальной личности, хотя и это входит в комплекс впечатлений, выносимых из рассказа; главное — исключительное одиночество Решетникова в тех кругах интеллигенции и интеллигентского мещанства, куда забросила его судьба. Это одиночество, повидимому, разлагающе влияло на его психику, что сказывалось в еще большей отчужденности его от тех людей, с которыми он жил. Его дневник — сплошной крик человека, задыхающегося в кругу чуждых и далеких людей. Герой рассказа «Трудно поверить» ничего не имеет общего ни со студентами, ни с чиновниками, обитателями той же квартиры, в которой он живет. Все это не только чужие, но и враждебные, по отчужденности от них, герою-автору люди, более чужие и враждебные, чем арестанты и жандармы полицейской части, избивающие его в «Филармоническом концерте».

Не трудно понять, почему Куручкин отказался от рассказа. Потребовалось 14 лет, протекавших после смерти автора, чтобы рассказ нашел приют в «Новом обозрении».

А между тем рассказ как художественное произведение бесспорен и должен занять место в ряду лучших произведений Решетникова. Рассказ очень характерен для художественной манеры Решетникова. Еще критика шестидесятников пыталась определить основной характер решетниковского реализма.

«...Он дает короткие факты, внешние признаки внутренних состояний, и уже от восприимчивости читателя зависит понять и почувствовать их силу и глубину. У него нет эффектных сцен, об ужасах он говорит очень просто, как о вещи обыкновенной, повседневной, будничной» (Шелгунов).

Анализ творческого метода Решетникова, такого близкого к требованиям материалистической эстетики Чернышевского, — дело будущего. Своеобразный решетниковский реализм в письме, в основном верно охарактеризованный Шелгуновым, — неотъемлемая принадлежность этого метода. В «Трудно поверить» этот реализм исключительно интересен, так как применен к явлениям больной человеческой психики.

По словам редакции газеты, рукопись второго рассказа — «Филармонический концерт» — доставлена в сильно потертом виде; три слова в тексте редакция

восстановила по догадке. Рассказ, напечатанный 13 лет спустя после смерти писателя, написан в январе 1868 г.

Очевидно попытки поместить рассказ в каком-либо столичном издании имели место, но рассказ по предельному своему реализму в зарисовке полицейских нравов был явно нецензурным. Только надежда на большую снисходительность окраинной цензуры, расчет на «давность лет», на незаинтересованность провинциальных властей в оберегании чести столичной полиции мог подсказать Гл. И. Успенскому попытку пристроить рассказ далеко от Петербурга.

Однако уверенности в снисходительности и провинциальных властей вначале не было: Н. Николадзе, сотрудник «Нового обозрения», также «содействовавший, по словам редакции, этой вынужденной переброске произведения петербургского писателя на страницы далекой окраинной газеты, пишет С. С. Решетниковой: «Статью Вашего покойного мужа я послал в редакцию газеты «Новое обозрение», откуда вы на этих днях и получили деньги 25 руб., если рассказ «Филармонический концерт» будет дозволен цензурой»¹.

Рассказ основан на личном горьком опыте знакомства Ф. М. с нормами полицейской заботы о благочинии. Гл. Успенский в биографии Решетникова рассказывает, что в бумагах писателя он нашел «прошение, адресованное Ф. М. к СПб обер-полицмейстеру. В прошении этом Решетников рассказывает следующее. Вздумалось ему пойти однажды в концерт. Прочитавши афишу и не заметив, что она вчерашняя, старая, он отправился в Дворянское собрание, где вероятно уже происходило что-нибудь другое. Городовой не пустил Ф. М. в под'езд, он пошел в другой — и там не пустили, «прогнали прочь», по собственному его выражению. Ф. М. рассердился и ответил, на него прикрикнули: куда ты лезешь? кто ты такой? — «Мастеровой!» — ответил Ф. М. Результатом такого ответа было то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый, без денег и без кольца. «Довожу об этом до сведения вашего п-ва, — писал он в прошении. — Я ничего не ишу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые не били народ»²... Этому «народу» и так придется получить много всякой всячины!»³.

Гл. Успенский относит это прошение к «доказательствам истинной любви к человеку»⁴; Ленин из опубликованного Успенским материала сделал другой вывод:

«Лет тридцать пять тому назад, — писал В. И. в первой статье «Случайные заметки» («Бей, но не до смерти» — «Заря», 1901, № 1) — с одним известным русским писателем, Ф. М. Решетниковым, случилась неприятная история».

В. И. в статье передает содержание приведенного нами отрывка и приводит цитату из прошения Ф. М. — «чтобы не били народ».

«— Скромное желание, которым так давно уже осмеливался утруждать русский писатель начальника столичной полиции (продолжает Ленин), осталось и по сие время невыполненным и остается невыполнимым⁵ при наших политических порядках. Но в настоящее время взоры всякого честного человека, измученного созерцанием зверства и насилия, привлекает к себе новое могучее движение, собирающее силы, чтобы снести с лица русской земли всякое зверство и осуществить лучшие идеалы человечества» (Ленин, Соч., 3-е изд., т. IV, стр. 89—90).

Таково было впечатление от факта, легшего в основу рассказа Решетникова, у Ленина-читателя, Ленина-публициста. Совершенно очевидно, что петербургская цензура была по-своему права, не разрешая к печати художественного претворения этого факта, так невозмутимо, спокойно переданного Решетниковым и такого жуткого в его манере объективно-реалистического письма.

И. Векслер

¹ ЛГПБ, Архив Решетникова, письмо Н. Николадзе от 16 февраля 1884 г.

² Курсив и отточия Гл. Успенского (документ отсутствует).

³ Собрание сочинений Решетникова, 1874, т. I, стр. 53; в архиве Решетникова ЛГПБ этого документа нет.

⁴ Там же.

⁵ Курсив Ленина.